

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ

ДОЛ

на Старой

Сноски и примечания

Площади



Андрей Владимирович Колесников

Дом на Старой площади

Серия «Мемуары – XXI век»

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22983144

Дом на Старой площади. Сноски и примечания: АСТ, Редакция Елены

Шубиной; Москва; 2019

ISBN 978-5-17-110349-1

Аннотация

Андрей Колесников – эксперт Московского центра Карнеги, автор нескольких книг, среди которых «Спичрайтеры», «Семидесятые и ранее», «Холодная война на льду». Его отец – Владимир Колесников, работник аппарата ЦК КПСС – оставил короткие воспоминания. И сын «ответил за отца» – написал комментарии, личные и историко-социологические, к этим мемуарам. Довоенное детство, военное отрочество, послевоенная юность. Обстоятельства случившихся и не случившихся арестов. Любовь к еврейке, дочери врага народа, ставшей женой в эпоху борьбы с «космополитами». Карьера партработника. Черета советских политиков, проходящих через повествование, как по коридорам здания Центрального комитета на Старой площади... И портреты близких друзей из советского среднего класса, заставших войну и оттепель, застой и перестройку, принявших новые времена или не смирившихся с ними. Эта книга – и

попытка понять советскую Атлантиду, затонувшую, но все еще посылающую сигналы из-под толщи тяжелой воды истории, и запоздалый разговор сына с отцом о том, что было главным в жизни нескольких поколений.

Содержание

Глава 1. Первые радости	9
Глава 2. Ваня и Дуня	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Андрей Владимирович Колесников

Дом на Старой площади

Сноски и примечания

В мыслях я снова с ними, как будто только здесь – деревянный стол над морем под оливами – как будто только здесь я могу воздать им сполна. Слова, что возникают на бумаге, напоминают – вкусом? запахом? – тех, о ком они – их дыхание, кожу, голоса, – и оборачивают их в податливый целлофан человеческой памяти.

Лоренс Даррелл. Александрийский квартет. Жюстин. 1957

Думаю, дело тут в любви: чем больше вы любите воспоминание, тем более сильным и удивительным оно становится.

Владимир Набоков. Из интервью. 1962

* * *

Ветер выворачивает наизнанку листья олив и даже длинные иглы средиземноморской сосны. Листья становятся серебряными. Облака, тщательно обработанные, повисают как

белые на электрических проводах. Остров, в несколько раз меньше нашего, сегодня хорошо виден – как будто изображение специально промыли. Странность состоит в том, что в ясные дни, вроде бы не ветреные и жаркие, этого острова не видно. Вчера я наблюдал с большой высоты бухту и дом, где жил Лоренс Даррелл с женой Нэнси и вел свой островной дневник 1937 года – *Prospero's Cell*. Знал бы он, какие орды англичан в шортах с континентальным греческим пивом «Митос» наперевес двинутся сюда годы спустя после него – клерка Форин-офиса, ненавидевшего Англию и служившего ей.

На моей родине в это время депутаты отменяют обувь на высоких каблуках, кружевные трусы и кеды. Расстояние усугубляет понимание абсурдности ситуации. Скоро они запретят самих себя, вернувшись к формуле Мая-1968 «Запрещено запрещать».

Пробуждение на острове: крики петухов, грай птиц, ветер, солнечный луч сквозь занавеску, летящий самолет. Отсутствие расписания на приходящий день. Всё точно так, как в детстве.

Патриотизм рождается малой родиной из детства, а не большой родиной из учебника или тронной речи.

Приехать сюда в ноябре, в сезон штормов. Поселиться в примитивном номере окнами на прибой. Слушать дождь, который ветер пригоршнями бросает в оконное стекло. Смотреть на серое море. Домучивать у скверного камина албан-

ский коньяк, разлитый в портовом городе Дуррес. И так провести в оцепенении в обезлюдевшей курортной деревне несколько дней.

Здесь, наверное, трудно было поверить в то, что где-то может начаться война. Пусть даже холодная война. Бомбардировка рая – а она состоялась во Вторую мировую – специфический акт.

Газеты доставляют сюда к двенадцати дня. На соседний остров, оглушенный грохотом цикад, их привозят морем к вечеру. Из четырех указателей на этом острове три обозначают путь к агентствам недвижимости, причем на итальянском языке, а один – на свалку, на английском. «Обзаведясь в киоске прессою вчерашней», как писал Бродский... А вот у нас плохо работает вай-фай. Когда он отключается, хозяйка-англичанка иронически пожимает плечами: «*This is Greece... Bloody internet... Sorry*».

Здесь чаще во сне приходят родители и брат. Голова очищена от шелухи, вот они и приходят. К мемуарам отца я решил написать примечания. Или сноски. Или сноски и примечания. Чтобы объяснить себе своих родителей. И их время. И себя им – постфактум, *postmortem*. Посмотреть на мир их глазами и, как передают друг другу бинокль, дать им насмотреться на мою оптику. А потом повернуть его обратной стороной.

Вот аутентичный текст, написанный от руки неверным почерком insultного больного и перепечатанный братом

больше четверти века назад на только появившемся тогда «Хьюлетт Паккарде» – этими компьютерами была оснащена рабочая дача правительства в Волынском-2. А брат работал спичрайтером премьер-министра. Он умер через шесть лет после кончины отца. Электронная версия утрачена. Бумажная чудом сохранилась. Текст мемуаров отца, который имел два названия – «Это было, было...» и «20 лет на Старой площади», я буду обозначать другим шрифтом. Начнем.

Глава 1. Первые радости

По дорожке Филевского парка медленно продвигается, тяжело опираясь на палку, высокий согбенный старик. Внимательно вглядывается в снежные бугорки и углубления, стремясь поставить ногу не на скользкое место. Неужели этот человек, с трудом переставляющий слабые ноги, – это я? Да, это я, Владимир Иванович Колесников, инвалид второй группы после «фирменной» болезни цекистов. В нашем кунцевском поселке живут бывшие работники аппарата ЦК КПСС, та самая ненавистная «партноменклатура», виновная, по мнению многих, во всех бедах нашего многострадального отечества.

Мы въехали в квартиру в этом поселке у метро «Кунцевская» в августе 1972-го. Однажды отец повез меня с Ленинского проспекта, где мы жили, показывать новый дом. Кухня, крашенные серым стены. И белая розетка, на которой красной краской было написано «Радио». Первого сентября в память о моем первом классе мы посадили у нашего дома выкопанный в парке клен – взамен упавшего мертвого старого дерева. Этот клен растет до сих пор. В нашем микрорайоне, в народе называвшемся Царским селом или Ондатровым поселком (за одинаковые шапки, которые шили работникам ЦК в ателье в Большом Черкасском переулке), проживал но-

менклатурный плембс – основная масса работников аппарата среднего звена и техническая обслуга. Наверное, количественно самый большой номенклатурный заповедник эпохи застоя.

Детские площадки, спортплощадки, магазин – «циковский», как говорили в том же народе, который невольно объединил два понятия – историческое и современное, оба символизировали большевистскую власть – ЦИК и ЦК. Считалось, что там «лучше снабжение», поэтому очереди были чудовищными. Чуть поодаль, практически в парке, за забором располагались два сверхэлитных дома, больше похожих на шикарные (в тогдашнем понимании) пансионаты, – академиков АН СССР и Совмина Союза. Совминовский дом якобы строили для Брежнева, но Леонид Ильич не захотел покидать квартиру на Кутузовском. Здесь жили, среди прочих, председатель Госплана Николай Байбаков, обозреватель «Правды» Юрий Жуков, чью передачу с разбором писем трудящихся о международной обстановке так любила смотреть моя бабушка (грузный, спокойный, пожилой Жуков вызывал доверие). И застрелившийся первый зампред КГБ Семен Цвигун. Существовал запрет на движение личного транспорта по дороге, которая шла вдоль забора этих двух домов, зато останавливался самый обычный автобус.

Большинство моих сослуживцев прошли примерно одинаковый путь: после тяжких трудов, по принципу «пораньше приди, попозже уйди с работы», без отдыха,

без выходных, еле-еле дожив до 60 лет, получали «в награду» инфаркт или инсульт и отправлялись либо на «склад готовой продукции» соседней Кунцевской больницы, либо после реанимаций и реабилитаций выбирались на слабых ногах на аллею нашего парка.

Слишком серьезные обобщения. Да, многие перерабатывали. И да, зарабатывали сердечно-сосудистые заболевания. Рано умирали или теряли трудоспособность. Во многом это было связано с поколенческими проблемами со здоровьем – с военными или послевоенными детством и юностью. Тем не менее многие работники аппарата ЦК отличались, и иные и до сих пор отличаются, завидным долголетием.

Вообще говоря, ЦК был приписан к обществу «Динамо», и по выходным в Филевском парке невозможно было найти свободной лыжни – ответработники в синих шерстяных спортивных костюмах заселяли всё пространство. Брейгель бы не знал, что делать со столь щедрой натурой. Их достижения, километраж и время пребывания на трассе фиксировались специальными дежурными, которые по субботам и воскресеньям мерзли у входа в парк рядом с дачей товарища Промыслова, председателя Моссовета в течение 22 лет. Впоследствии там располагалась ешива, которую добрые люди однажды, в 1990-е годы, подожгли. А затем на этом самом месте построили элитный дом. Молва приписывала проживание там тогдашнему (времен строительства дома) премьер-министру Фрадкову. А теперь уже никто и не помнит,

кто такой Фрадков...

Навстречу уверенно шагает трехлетний карапуз. «Дядя, вы старенький?» Голубые глазенки внимательно разглядывают мою палку. «Да, деточка». С чувством превосходства он гордо добавляет: «А я – молодой». Топают ножкой в красном сапожке: «Я могу бегать». И берет старт. Беги, малыш! А я вздыхаю: сам-то уже отбегался и даже отходился...

«Когда отчетливы приметы / Того, что стар и одинок, / Пиши чеканные сонеты, / Сонетов царственный венок. / Когда дела идут к закату / И руки скованней в кистях, / Играй воздушную сонату / Прозрачной формы в трех частях».

Да, вот пришло время и мне браться за сонет. Мемуарный «сонет» в прозе...

Это – стихи Ларисы Миллер. Я познакомился с ней в начале 1990-х и давал читать ее сборники уже тяжело больному отцу, понимая, что прозрачная ясность стихов Ларисы, ученицы Арсения Тарковского, ему, стороннику всего классического, понравится. Это была своего рода терапия. И вот он процитировал стихотворение Миллер. Превратив в фактический эпиграф к своим воспоминаниям.

* * *

Мне кажется, что я помню себя с двух-трех лет

от роду. В трехлетнем возрасте, то есть когда я уже уверенно ходил и бегал, мы жили в селе Киструс Спасского района Рязанской области. Помню высокий берег Оки и дорогу – спуск к воде, где река летом мельчала так, что можно было перейти ее вброд, и я видел, как тяжело нагруженные телеги и возы сена важно пересекали реку, а потом медленно карабкались вверх. Село, по моим представлениям, было сплошным яблоневым садом. Видимо, это была весна, и сады бурно цвели бело-розовым цветом. Наверное, я был озорным неслухом, потому что один бегал в амбар и барахтался там в куче зерна.

Позже мы с мамой приехали в город Спасск, где я прожил у бабушки Нади до семилетнего возраста. Небольшой домик на окраинной улице состоял из одной комнаты с большой печью, на которой я так уютно устраивался на ночь. В красном углу всегда мерцала лампадка, освещающая большую, в золотом окладе, икону с темным ликом Богородицы, которую моя бабушка, стоя на коленях, упрашивала пожалеть нас, сохранить и помиловать неизвестно за какую нашу вину. Кроме того, из комнаты можно было выйти в просторные сени, откуда было два выхода – на улицу и во двор, где проходили все мои игры – почему-то всё время я строил там землянки. Через забор от соседей тянулись ветви яблонь и груш, а осенью на радость мне с них падали теплые плоды. А прямо за забором, по которому важно расхаживал его хозяин – боевой петух, начинались бескрайние поля и заветная тропинка к берегу Оки.

Плавать я тогда еще не умел, поэтому просто шлепал по колено в воде, спугивая стайки пескарей, или плескался, лежа на животе. Иногда вместе с друзьями просился перевезти нас на другой берег – там, в привольных заливных лугах, мы прыгали и кувыркались, вдоволь наедались диким луком. Надышавшись запахами луговой травы и цветов, спешили домой – или на пароме, или опять упрашивая счастливых обладателей лодок.

Таково свойство памяти – наводит резкость, если надо. Даже если чего-то сразу не видно, настроив оптику памяти, можно обнаружить множество деталей. Проложить дорогу. Восстановить запахи и звуки, облик человека... Иногда резкость внезапно наводится сама. Вдруг просыпаюсь с четким слайдом перед глазами – прозрачное утро в рамке окна казенной дачи лета 1974 или 1975 года: синее небо и светносные сосны. И вспоминаю стихотворение самой младшей сестры бабушки – обожаемой всеми тети Гени Кац-Каган, которая еще вернется не раз в это повествование: «...Тем ясным, теплым утром ранним / Возникло детство в дымке дальней / В каком-то легком полусне...» Потом внутреннее зрение можно перевести направо – грубо обструганные доски стены коммунального дома для работников ЦК, который был построен пленными немцами. А дальше взгляд может гулять куда хочет, как в видеопосещении на сайте какого-нибудь музея. И уже слышны голоса мамы и бабушки Любы, уже слышен мой собственный голос: «А почему баба Дуня

по ночам кричит?» И уклончивый торопливый ответ родителей, чуть ли не хором: «Это ей снится, что ей доктор зубки лечит». И деревянное крыльцо, портал в большой лесной мир. И мой вопрос: «А кто такие евреи?..»

...Отец родился в 1928 году в селе Ижевское Спасского района Рязанской области. В то время дед работал там нар-судьей – после окончания Рязанского рабоче-крестьянского университета. В автобиографии дед, Иван Иванович, писал, что является выходцем из семьи «крестьянина-середняка». В то время, которое описывает отец, его папа трудился председателем Спасского райколхозсоюза. То есть в свои неполные 30 лет активно участвовал в коллективизации. Семья, несмотря на Богородицу, была преданно-коммунистическая. Моя бабушка Дуня, уже будучи очень пожилой женщиной, куда-то там направляясь из последних сил, говорила: «Я должна, ведь я – коммунист».

Эти убеждения – в буквальном смысле как веру – отец впитал от своих родителей. И ничто – ни опыт, ни образование, ни скептический склад ума, ни круг друзей-интеллектуалов – не смогло эту веру, абсолютно ортодоксальную, пошатнуть.

* * *

Меня всегда тянуло к воде. Впоследствии, где бы я ни был, первым делом шел к реке, чтобы «свои ладони

в воду опустить», а при возможности и поплавать. Это были великие реки – Волга, Енисей, Иртыш, Лена, Ангара, Зeya, Амур, – и везде вода принимала меня по-братски, как своего.

А еще озеро Байкал. В одном из писем 1968 года из командировки папа писал маме о том, что видел Байкал. И что нигде не дышал таким воздухом. А в пыльном и загазованном Иркутске посмотрел прекрасную постановку пьесы, на которую в Москве не попасть, – «Варшавскую мелодию» Леонида Зорина. Ну да, как же попасть? Театр Вахтангова, постановка Рубена Симонова, в ролях Юлия Борисова и Михаил Ульянов, почти диссидентская тема, запрет на брак с иностранкой, хотя и из соцлагеря...

А все великие реки папа видел в бесконечных командировках, которые описаны в пяти блокнотах путевых заметок – с 1969-го по середину 1980-х. Блокноты пахнут его руками, его кожей... Или мне это только кажется. Но это мы еще обсудим.

...Сон. Нагорное, поселок ЦК КПСС по Новогорскому шоссе, за нынешним Куркином. Нагорное в той части, где был заросший, таинственный пруд, почти превратившийся в болото.

Отец с *чужим* лицом. То есть я знаю, что это он, однако у него лицо другого человека.

Все-таки родители редко снятся. И я иногда выпрашиваю у «высших» сил, чтобы это происходило чаще. Сознание за-

мусорено текущими событиями? Или это их посмертная деликатность? Или я неблагодарный сын?

Еще сон. Мама предлагает съехаться. Оказывается, в продажу поступила наша старая квартира. Мечта о возвращении в детство перемешана с виной за то, что когда-то разъехались. Мечта-вина.

И еще сон. Брат (который много лет как умер) потерял работу. Я сучусь, звоню разным людям, в том числе его высокопоставленным друзьям, с которыми он стесняется по этому поводу связываться, устраиваю его дела. Он всегда был старшим не только по возрасту. И вдруг такая беспомощность...

И еще. Первый раз, когда я испугался за отца. Больше, чем за себя. В Нагорном, в 1971-м, мы пролезали через дырку в заборе поселка, чтобы выйти к реке. Папа напоролся лбом на здоровенный гвоздь. Кровь хлестала невероятно сильно. Пришлось вернуться домой. Мне было лет шесть.

На нашем острове в магазине я задел плечом стойку с оливковым маслом. Бутылка разбилась, упав на мою ногу. Моя пятилетняя дочь, мое нежное счастье, после полутора месяцев на море – цвета настоящего кофе маккиато, первой обнаружила сильный порез на моей пятке: хлестала кровь, как тогда, более сорока лет назад. Обнаружила и горько заплакала от страха и жалости ко мне. И долго не могла успокоиться...

Второй раз в жизни я испугался за папу, когда мы отды-

хали на Куршской косе. Литовские товарищи напоили высокого московского гостя – завсектором ЦК – во время яхтенной прогулки. Ночью я проснулся в номере дома отдыха от того, что отцу было по-настоящему плохо. Мама суежилась вокруг него. Он называл маму «кошечка моя», и эта интимность меня тоже поразила и испугала. Мне тогда было лет девять, но неловко было обнаружить то обстоятельство, что я не сплю и вообще от страха хочу в туалет.

Когда у отца в 1990-м, на второй день после ухода на пенсию, случился первый инсульт, я испугался так же, как и в тот день, когда он напоролся на гвоздь. В 1971-м была тренировочная травма.

Продолжаем разговор.

...А потом было Черное море. Не только то, что плещется как приложение к санаторию, а настоящее, серьезное. Впервые я увидел его с высоты Байдарских ворот, когда автобус привез нас из Севастополя и остановился над обрывом. Открылось огромное, вполнеба темно-синее пространство, и я воочию увидел кривизну земного шара и задохнулся от радости. Потом я уплывал в синеву, насколько хватало сил, и возвращался в изнеможении.

У меня был и остается свой Крым. Совсем не «наш» – мой.

Я просыпаюсь в пять утра – меня выбросила из сна на гурзуфскую гальку волна Черного моря. Но я не на берегу, а в своей постели. Во сне, почему-то в сумерках, мы плыли с

родителями к берегу. Я вроде бы был в своем сегодняшнем возрасте, а родители чуть младше меня: ведь если это Гурзуф, то значит они – из лета 1975-го или 1976-го, то есть им еще нет пятидесяти. Но в то же время я – маленький, потому что они меня заботливо сопровождают.

Нигде нет такого фантастического, мощного, не разменивающегося на постепенность, сразу втягивающего своей глубиной, но не враждебного и щедро делящегося восстанавливающей силой моря. Его чувствуешь всеми порами, всеми мышцами, всей своей эмоциональной архитектурой. И такого воздуха. И таких пейзажей. И одного главного пейзажа, который воспроизводится на всех открытках, начиная с XIX века.

Но я проснулся и подумал, что это – смерть. Родители проводили меня до берега, до самих себя. Проводили взволнованно-заботливо. И тогда мне стало страшно. Их не было здесь, вне сна. Я вспомнил сцену из «Сарабанды», последнего фильма Ингмара Бергмана, когда напуганный ночными мыслями о смерти герой Эрланда Юсефсона, жалкий, старый, без трусов, с обвисшими яйцами, стучится в дверь приехавшей навестить его бывшей жены.

Вот она какая – смерть. А вид на Аю-Даг и волшебное море, всё в цветах с картин Коровина, бухта под дачей Чехова с внешне яростными, но на самом деле просто играющими в ярость волнами, – остаются.

И еще счастливое ощущение причастности к водной

стихии испытал я, когда появились у нас маски и ласты для подводного плавания. Это было в Крыму. Мы с Володей Митяевым кромкой восточного берега пробрались самостоятельно от Коктебеля до Ай-Даниля. Натянули маски и пошли, неуклюже шлепая ластами, к воде. Первым нырнул Володя. И вдруг я увидел бурные пузыри и услышал какое-то рычание. Я испугался, и кинулся за ним вслед, и тут же дико зарычал сам, когда увидел красоту подводного мира – в голубом сиянии мирно паслись стайки неведомых рыбок и покачивались невиданные цветы. Чуть не задохнувшись, мы одновременно вынырнули и, обменявшись впечатлениями, уже более спокойно стали исследовать морские богатства.

Начались счастливые дни общения с нашей праматерью-природой. Насколько хватало дыхания, мы проплывали мимо обросших камней. Лежали на песке под снопами солнечных лучей, которые причудливо преломлялись в воде, заплывали в таинственные гроты. Внизу открывались бездонные голубые пропасти, а мы, ничтожные козявки-пылинки, суетились где-то наверху. Фантастические картинки сменялись как в волшебном фонаре. Забирались мы в знаменитые Сердоликовые бухты, где в крупнозернистом золотом песке находили кусочки яшмы, горного хрусталя и массу разноцветных сердоликов. Затем была Царская тропа, Бухта-барахта и другие сказочные, тогда еще дикие и безлюдные места. В награду как первопроходцы мы получили возможность открыть местонахождение

Крымского завода шампанских вин и в местном киоске купили этот божественный, без преувеличения, напиток, золотое дыхание которого мы ощущали потом полдня. А позже пришло время Балтики. Но об этом разговор потом...

Любование природой – лесом, полем, горами, морем – отцовская черта. Море он, как всякий представитель своего поколения, увидел поздно. Думаю, где-то во второй половине 1950-х. Отсюда и восторг открытия. Тогда это были не совместные поездки всей семьей, с мамой и старшим братом, а, в силу служебных и финансовых обстоятельств, индивидуальный отдых, причем, как правило, в несезон (прямо по Бродскому: «Приехать к морю в несезон, помимо материальных выгод, имеет тот еще резон, что это временный, но выход за скобки года...»). О чем свидетельствуют многочисленные открытки и письма с общедоступных советских курортов, из домов отдыха с совершенно спартанским режимом существования.

Ну а о Балтике действительно разговор – потом.

Когда я был маленьким, да и во взрослом состоянии, глядя на отца и мать, всегда хотел узнать, что они думают, как относятся ко мне. Но ответа не было. Родители мои всегда были молчаливы, скромны и не откровенничали. Это пошло наверное, от дедушки Ивана Андреевича, которого бабушка Елена Сергеевна всегда корила: «Что же ты молчишь, старый пень?» В ответ дед только усмеялся в бороду.

Так и промолчал всю жизнь, по уверениям бабушки.

Дед дал нам свою фамилию. Он был искусным колесником, к которому обращались за помощью со всей округи – ведь каждому надо было починить телегу или заменить колесо. Дед великолепно точил на токарном станочке спицы для колес, ступицы, а затем отправлялся в кузницу, чтобы насадить на деревянное колесо железный обод. Зимой колесник превращался в саночника. Ладил легкие резные санки с изящными украшениями – загляденье просто! Долго парил в печи толстые березовые полозья, ловко загибал их и перевязывал лыковыми тяжами – и всё один. Дети, мои дядья, жили своими семьями, а внуки были еще маленькие, толку от них пока было мало. Помню, мне дедушка доверял только спицы строгать и терпеливо подсказывал, как лучше действовать стамеской и ножом.

Показал как-то мне, как из липового бруска вырезать ложку. Я, конечно, постарался для себя сделать большую ложку, похожую на половник, и лихо зачерпывал щи из общей миски за столом. Однажды, зачерпнув своим орудием хороший кусок мяса со дна миски, вдруг получил наглядный урок: мой тихий незлобивый дедушка взял мою ложку, облизал ее и с размаху хлопнул меня по лбу. Я вытаращил от неожиданности свои рязанские глазищи и заревел, а дед спокойно вернул мне половник и разъяснил городскому мальчишке, что мясо выбирается из миски после того, как все щи уже выхлебаны, а главное –

только после взрослых. Дети должны знать свое место. Бабушка Елена Сергеевна властным серьезным голосом подтвердила строгие правила. Это был урок на всю жизнь.

Отец очень гордился своим крестьянским происхождением, всегда подчеркивал, что его серо-голубые глаза – рязанские, считал, что умеет столярничать. Но в этом было некоторое преувеличение. Сформировался он сначала скорее в слободской, а потом в городской среде – коммунистической, уравнивавшей и нивелировавшей все и вся.

В строгом смысле слова он, конечно, был москвичом – с подросткового возраста, с войны, жил в самом центре города, рядом с улицей Горького, в Дегтярном переулке, а учился здесь же рядом в 167-й школе, бывшей 25-й образцовой, интересовался гуманитарными предметами и опереттой (шире – театром и кино в целом, собирался стать актером, занимался в драматических и хоровых кружках). Словом, социологически это была такая разночинная среда, из которой в том числе рекрутировалась будущая интеллигенция 1960-х годов. И деревней мои родители интересовались не больше, чем любые среднестатистические интеллигенты. Да, в домашней библиотеке были Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Федор Абрамов. И лишь одна книга Василия Белова – очерки о народной эстетике на мелованной бумаге, изданные «Молодой гвардией». Огромное собрание поэзии, в котором не было Николая Рубцова. По-настоящему читанные тома –

Распутин и Астафьев. Но тогда эти тексты входили в обязательный джентльменский набор советского интеллигента, и никакой русофобии, кроме любви к подмосковной природе (и к природе Балтики, Крыма и черноморского побережья Кавказа) не наблюдалось вовсе. «Русская партия» обошла стороной выходца из Рязанской области, коммунистический интернационал был важнее, равно как и жена-еврейка, теща-еврейка, родственники-евреи и друзья-космополиты – известный адвокат и видный редактор. Что уж говорить об отдыхе на северо-западном взморье – Рижском, на Куршской косе и в Паланге, в Таллине и Пярну. Отдыхе, сопровождавшемся общением с местными элитами и творческой интеллигенцией из метрополии.

Деревенская жизнь с ее твердым распорядком, своими вечными ценностями познавалась мною медленно и трудно летом 1941 года, когда после первых бомбежек меня отправили из Москвы к дедушке и бабушке в село Бугровка Черневского района Рязанской области. Спасали меня от авиационных налетов фашистов на Москву, а отправили прямо навстречу наступающим врагам, которые вошли в нашу деревню в ноябре.

К тому времени я уже вполне освоился с деревенской жизнью.

Ездил верхом на неоседланной лошади, работал на стоговании сена, на молотилке, крупорушке, да и вообще на подхвате – дел всегда хватало. Самое трудное

испытание – работа пастухом. Пас телят, вставать надо было в 4 утра – это казалось невозможным, но чувство долга брало верх. Зато с форсом шелкал кнутом. Сначала не очень получалось, сплести кнут – большое искусство, но обучали меня опытные пастухи, и из тонких ремешков и конского волоса образовывалось это чудо: резкий рывок рукоятью – и получался громкий выхлоп, как выстрел. Это было своего рода щегольство, хвастовство уменьем. Телятам не очень это нравилось. Но самое ужасное в этом деле, когда телята, как дети, разбегались в разные стороны, а их нужно было собрать в одно место. Они же, как капризные ребяташки, не слушались. Вот тут-то и требовался кнут...

Иногда хозяйка жаловалась на меня, и тогда немедленно следовала расплата – вступала в дело статная Елена Сергеевна, которую мы все, дети и внуки, а также дед очень боялись и беспрекословно ей повиновались. Все ее внучки от разных детей получали ее имя, которое варьировалось: Лена, Леля, Ляля и моя сестра Ёлочка.

Ее мы привезли с Дальнего Востока, она родилась там, в городе Свободном, в 1937 году. Я очень ее любил и всегда заботился о ней. В семье сложилось такое положение: Ёлочка – папина дочка, а я – маменькин сыночек, даже внешне. Сестра была на моем попечении – нелегко быть нянькой в 10-11-летнем возрасте, особенно когда соседские ребята зовут гулять на улицу. Тогда я выходил с «хвостиком» – малышка следовала за мной по пятам. Во взрослой жизни наши пути с

сестрой разошлись, работа заела меня, но я всегда знал и чувствовал ее привязанность, любовь и поддержку и был уверен, что родители мои в надежных руках...

Осенью мне вручили трудовую книжку – 220 трудодней я заработал сам. Очень гордился, в нашей семье по числу трудодней я оказался на втором месте после дедушки. А он зарабатывал больше всех в колхозе со своей редкой и такой нужной специальностью колесника – более двух тысяч. Когда получали расчет по трудодням, дедушке загрузили подводу шестью мешками зерна, и он, улыбаясь, сказал: «Да хватит, хватит, куда мне столько». К этому на трудодни еще выдавались картошка, овощи, бидон меда и по 2 рубля 50 копеек на один трудодень. Колхоз наш был богатый, участник ВСХВ (сельскохозяйственной выставки в Москве).

Кроме такого заработка у нас был свой огород, на котором выращивали картошку, капусту, морковь, лук и даже горчицу. Для меня это была новость, я, конечно, не знал, как горчица растет и что из нее можно делать горчичное масло. Оказалось, что самая вкусная каша – это пшенная каша с горчичным маслом. Еще одно открытие для меня: квас делали не хлебный, а из ржаной муки, не сладкий, а кисленький, в жару самый подходящий.

1 сентября я пошел в пятый класс Бугровской сельской школы. Разницы с московской школой особой не было. Та же беготня на переменах, только ругань была вполне взрослая и ребята поздравнее.

Один второгодник-верзила угнетал нас, слабеньких, особенно придирался к «городским», их вообще презирали. Правда, около меня образовался небольшой круг почитателей советской литературы, я много рассказывал о прочитанных книгах Аркадия Гайдара. Ребята с восторгом слушали о приключениях Тимура и Мальчиша-Кибальчиша.

Симптоматично: сельская школа для городского мальчика – как зона для интеллигента. И способы самозащиты те же – пересказ литературы. Только не Дюма или Жюль Верна, а Гайдара. Но социальная картинка та же.

Что же до «папиной дочки» Ёлочки, то совсем недавно я смотрел во время отпевания на ее неузнаваемый профиль...

Да, мне было о чем порассказать, ведь я учился не только в московской школе, но и на Дальнем Востоке. А Дальний Восток в то время был самым романтичным местом, о котором мечтали все мальчишки и девчонки. Героический беспосадочный перелет В. Гризодубовой, П. Осипенко, М. Расковой поражал воображение. Я был счастлив, когда узнал, что наши героини будут проездом в городе Свободном Амурской области, где мы тогда жили. Помню, собралась огромная толпа с флагами, лозунгами. Играл духовой оркестр. Наконец подошел поезд. Под радостные крики из вагона вышли три красавицы (так тогда мне показалось) и помахали нам руками. Толпа грянула «ура».

Вот и вся встреча, которая запомнилась навсегда. Мы еще долго бежали вслед за поездом.

Мы жили далеко от Москвы, но всегда ощущали причастность к общему великому делу, чувствовали себя гражданами великой страны.

Вот здесь стоит остановиться. В этом – причина конформизма, воинствующего конформизма моего отца. Он был воспитан в коммунистической вере, был послушным мальчиком, который воспринимал всё как должное, на всех этапах взросления старательно выполнял навязывавшиеся социальные роли. И надо сказать, что в этом как бы проходном, почти парадном высказывании схвачена суть того, как работала система. Было ощущение общего дела – *res publica*. Какое дело, кем сформулировано, как насаждалось – все знаем. Но чувство – было. В том числе ощущение гражданства. В стране, где ни на что повлиять было нельзя, часть населения действительно выступала в качестве граждан, активных участников общего дела. А Гризодубова, Осипенко, Раскова, реальные героини, становились иконами – частью сталинского пиара этого общего дела, психологического стержня государства. Характерно и то, что летчицы показались восьмилетнему мальчишке красавицами. Потому что были пришельцами из мифа, ожившими принцессами. Но от них после отбытия поезда и туфельки-то не осталось...

Потом так же встречали и хетагуровок – девушек со всей страны, поехавших осваивать Дальний Восток.

Вот вам и пространственное развитие. Вот вам и освоение Дальнего Востока, над которым безуспешно бьются нынеш-

ние начальники. Нужна была одна «красная» Золушка, Валентина Хетагурова, которая обратилась к девушкам Страны Советов с призывом ехать на Дальний Восток. За четыре дня после публикации письма пришло 1770 заявлений с просьбой отправить на работу на дальние рубежи – без всяких социальных сетей. Вернее, это и была социальная сеть – по-советски. Горизонтальная мобильность, одно слово! А как убедительно звучало само обращение Хетагуровой, жены командира Красной армии: «...Нам нужны слесари и токари, учительницы и чертежницы, машинистки и счетоводы, конторщицы и артистки... Нам нужны просто люди – смелые, решительные, самоотверженные. Вас ждут замечательная работа, замечательные люди, замечательное будущее... Мы ждем вас, дорогие подруги!»

А дальше – песенное творчество и кино, искусство, которое из всех является важнейшим, – не менее эффективное средство пиара.

А с каким воодушевлением пели мы на пионерском сборе: «Летим мы, товарищ, дорогой высокой, наш путь над тайгой пролег. Байкал мой глубокий, Амур мой широкий, мой Дальний советский Восток». Всё было «мое», а вернее – наше.

Но особенный успех имела песня про трех танкистов. Границу мы ощущали остро, она была рядом.

Песня «На Дальнем Востоке» Ю. Милютина и В. Гусева,

написанная в 1937 году, мягко говоря, незамысловата. Но маршевый ритм и лозунговые слова с акцентом на *res publica*, чувстве сопричастности делам родины и коллективной собственности – «Амур мой широкий» – всё это работало. Раз уж даже мальчишки пели. Там еще были такие слова: «Край могучей, радостной работы, / Комсомольский, смелый, молодой, / Край, согретый сталинской заботой, / Озаренный сталинской звездой».

Ну а «Три танкиста» – заслуженно легендарное произведение из легендарного же фильма Ивана Пырьева 1939 года «Трактористы» с обаятельнейшим и ставшим культовой фигурой Петром Алейниковым, за которым закрепилось его «сценическое» имя – Ваня Курский. Слова Бориса Ласкина, одного из многих талантливых евреев на службе пропагандистского кинематографа, музыка – двух братьев Покрасс, третий из которых сочинял мелодии за океаном, в Голливуде.

Бои на озере Хасан в 1938 году, Халхин-Гол в 1939-м – всё это было географически далеко от города Свободный, где Зея впадала в Амур, но всё это был «мой Дальний советский Восток».

Весной 1940 года я со своим другом Виктором отпросился у мамы на рыбалку. Наш городок стоял на реке Зее и плавно переходил в деревню, в конце которой за сопками грозно передвигал свои волны Амур-батюшка. В большой лодке разместилось человек

6–7.

С огромным трудом мы переправились на другой берег и оказались в Китае. Но для нас это был просто другой берег реки. Было половодье, льдины только-только растаяли. На большом лугу были ямы, талая вода ушла, но кое-где осталась и врасплох захватила рыбу. В ямах плескались огромные рыбины, которых мы вытаскивали прямо за жабры. С богатым уловом возвращались мы домой. Да не только с рыбой, но и с икрой, ведь это была кета! Кстати, отношение к красной икре удивляло меня потом всю жизнь. В Москве мне всегда было смешно слышать, что получение икры – какая-то «привилегия». Ведь на Дальнем Востоке это была повседневная пища, даже надоедливая.

В этих краях наша семья оказалась просто: был очередной партийный призыв, кажется, «35-тысячников». Отец мой, Иван Иванович Колесников, член партии с 1927 года, был вызван в ЦК ВКП(б). Ему и его товарищам зачитали постановление Политбюро и предложили получить документы, билеты на поезд и подарки на выбор: охотничью двустволку или патефон. Папа сказал: мол, я не охотник, а музыку люблю. Взял патефон и набор пластинок в небольшом чемоданчике.

В семейном архиве я нашел набросок автобиографии деда. На Дальний Восток его отправили в 1936 году, как он написал, «в счет „500“», то есть по призыву «500-тысячников». Как до этого его призывали в районные судьи «в счет „75“». Началось все с «25-тысячников», передовых адептов

новой власти, которые согласно постановлению ноябрьского пленума 1929 года должны были отправиться в колхозы на организационно-хозяйственную работу.

Потом эти опыты по социальной вертикальной возгонке и горизонтальной мобильности повторялись. Надо сказать, опять же с точки зрения социальной мобильности и рекрутирования активных сторонников власти – исключительно эффективный метод. Стахановцы, хетагуровки, «25-, 75-, 100-тысячники» и прочее. Собственно, эти эксперименты повторялись и в эпоху целины, и при строительстве брежневского БАМа. Но как-то всё уже не очень работало, железную веру разъел усталый цинизм: «Приезжай ко мне на БАМ – я тебе на рельсах дам».

Патефон в то время произвел в стране музыкальную революцию. Мы заводили его всю долгую дорогу до Хабаровска, и я навек запомнил тот незатейливый репертуар – Изабелла Юрьева, Лидия Русланова или просто духовой оркестр. С патефоном я не расставался все четыре года дальневосточной жизни и долго потом сожалел о потере его в Москве.

В Москву мы вернулись только летом 1940 года. Мама всё время рвалась в столицу, отец занимал нейтральную позицию. Он всегда был погружен в работу, его назначили председателем отделения Приморского краевого суда. Рядом располагался ИТЛ, одно из подразделений БАМлага. По городу двигались колонны заключенных, много было и

расконвоированных, они работали на уборке улиц, водовозами и даже в торговле.

Мы подружились с нашим водовозом Султаном (так он себя называл). Это был милейший человек, добродушный, любящий детей. Странно было представить, что Султан – убийца, осужденный на 10 лет. Султан рассказывал, тяжело вздыхая: «Такая судьба у меня, без выхода, у нас, у горцев, такой обычай – кровная месть. А из всех кровников я один был старший мужчина и был обязан убить представителя рода, убившего моего старшего брата. И вот я здесь...»

Много таких историй из первых уст я услышал во время прогулок по городу, но в отличие от теперешнего времени никаких ЧП на улицах не было, никому в голову не приходило как-то опасаться заключенных, они были частью города, пострадавшие от закона или, скорее, от беззакония, к ним относились сочувственно, помогали, чем могли.

Жизнь была трудная, снабжение слабое и иногда нам удавалось покупать продукты в лагерном магазинчике, где хлеб был всегда, да и консервы, колбаса. Нередко мы, дети, и в кино ходили вместе с заключенными. Городской кинотеатр был далеко, в центре, да и с билетами туго, а тут кино под боком и билеты дешевле, чем в городе...

1937-й год пришел и к нам. Другом нашего дома бы Константин Георгиевич Опалько – старый большевик, зампредела суда, то есть заместитель моего отца. Почти каждый день Опалько бывал у нас дома. Но

однажды он исчез. На мои вопросы папа ответил, что Опалько уехал в Москву, но лучше об этом никому не говорить. Через полгода Константин Георгиевич вернулся, пришел к нам, и я ужаснулся: это был совсем другой человек с каким-то почернелым лицом. Буквально как у негра.

Выяснилось, что он пережил жуткую трагедию. Его хотели арестовать. Накануне папу предупредили, что его заместитель – «враг народа» и будет ночью арестован. Папа, конечно, рассказал об этом своему старому другу, и вечерним поездом тот выехал в Москву. Наутро отца стали допрашивать, таскали по инстанциям, он всё отрицал. Тем дело и кончилось. А Константин Иванович добрался до Москвы, попал на прием в ЦК, доложил о незаконных арестах и своих делах, и, как оказалось, весьма вовремя. Сталин как раз выступил на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б), где было сказано о «перегибах» в борьбе с врагами, отчего пострадали честные коммунисты. Так наш Опалько с триумфом вернулся обратно. Вот была радость! И главное, от того, что победила справедливость и отодвинулась угроза ареста папы. Ведь он рисковал жизнью.

Я совсем не знал деда – он умер незадолго до моего рождения. Остался только некролог в «Вечерней Москве». Но то, что он сделал, – повод им гордиться. Как в одной крестьянской башке это уживалось – преданность строю и деревенская, общинная хитрость в благородном деле спасения

друга – и сложный, и простой вопрос. Ответ: а вот так! Как любили говорить, такое было время.

Я думаю о том, как дед на следующий день после исчезновения Опалько общался с компетентными органами. Что они у него спрашивали? В какой тональности? И главное – что он отвечал? Как прикидывался ничего не ведающим руководителем? Ведь это его непосредственный подчиненный и друг исчез. Ведь Ивана Ивановича могли арестовать вместо Опалько. Или на Дальнем Востоке, да еще на БАМлаге, где вольного с трудом можно было отличить от зэка, нравы органов парадоксальным образом были мягче? И потом спустя эти самые полгода стало же очевидно, что между Колесниковым и Опалько был сговор: явно они вместе придумали, чтобы Константин Иванович отправился в Москву, в ЦК партии, правду искать. Значит, органы поняли, что сговор был, что Колесников покрывал потенциального преступника, который, правда, оказался в свете борьбы с перегибами не преступником, а героем... Это же Шекспир...

Второй факт из дедовской частной биографии, поразивший меня, когда я нашел соответствующий документ – это уже было в 1960-е: Иван Иванович жил, ночевал – в простом бытовом смысле слова – на работе, чтобы свежее испеченная семья – его дочь и ее муж – имели возможность проживать в квартире. Главный арбитр Госарбитража, на минуточку! А документ, собственно, касался просьбы об улучшении жилищных условий.

Еще осталось трогательное фото с моим братом Сережей: они заговорщически увлечены, что-то разыскивают в лесу. Дед – с его грубо вылепленным, с правильными пропорциями русским лицом и типично еврейский тощий мальчик лет 10–11 – внук.

Я всегда больше думал о другом деду, которого тоже не знал, поскольку он сгинул в Вожаеле, Коми АССР в 1946 году, куда его посадили в 1938-м – считалось, что я на него похож не только внешне, но и характером. От него, архитектора, осталось множество фотографий и материальных свидетельств. И еще огромный свод писем из Вожаеля.

Отношение к Сталину – в любой из двух семей, русской и еврейской, – нельзя, судя по всему, назвать положительным или отрицательным: как, например, относиться к погоде, которая свойственна тому месту, где ты живешь? Плохая погода, а что делать? Так и жили, разделяя «справедливость строя» и перегибы вождя. Привычный, в том числе и политически, уклад жизни и «эксцессы исполнителей». Наверное, отделяли Сталина как институциональную часть строя, «зонтичный бренд» системы, и Сталина как провокатора несправедливых арестов. Естественно, вслух или в письмах об этом никто не говорил и не писал. Конформизм был естественной средой жизни. А потом... Потом и сам отец, женившийся на еврейке, в разгар борьбы с космополитами, стал представителем когорты, которую называли «Дети XX съезда».

Глава 2. Ваня и Дуня

К тому времени отцу исполнилось 36 лет. За плечами остались служба в ЧОНе и коллективизация, когда молодой заведующий райфинотделом на Рязанщине, назначенный «уполномоченным», лихо скакал на коне, спасаясь от кулацких пуль. Некоторое время работал он председателем сельсовета в большом селе Ижевское (кстати, родина К.Э. Циолковского), где познакомился со своей будущей женой, моей матерью Евдокией Дмитриевной и где в апреле 1928 года я родился.

Мама была по тем временам весьма образованным человеком. Ее родители были мещанского сословия. Дочь обучили в Спасской гимназии. Старший брат мамы Александр после гимназии служил вольноопределяющимся на Первой мировой войне, за храбрость был произведен в офицеры. У бабушки хранился его портрет – я был на него очень похож, почти один к одному. Но в нашей семье об этом умалчивалось, ведь дядя мой дослужился аж до прапорщика, то есть «золотопогонника». Судьба его в дальнейшем сложилась трагически. Дядя Саша был ранен в живот, лежал в московском госпитале, спасти его не удалось. Остались лишь вечные слезы и молитвы моей бабушки Нади.

Вместе с младшим братом мамы Анатолием я жил у нее несколько лет. Родители в начале 1930-

х перебрались в Москву, работали на труболитейном заводе, жили в общежитии, а меня отправили к бабушке в Спасск, где я начал ходить в первый советский детский сад. И я, должно быть, был в этом детском саду первым прогульщиком. Произошла какая-то ссора с воспитательницей или детьми, я уж не помню, но почему-то я убежал из сада через дырку в заборе и отправился плакать на Оку (к воде меня всегда тянуло), а вечером как ни в чем не бывало вернулся домой. На все расспросы бабушки отвечал, что был в садике. Труднее всего было отвечать на вопросы об обеде, что я ел, какой именно суп, какие котлеты? Но я, мобилизовав всё воображение, внятно отвечал и держался еще целых два дня, пока не сознался в своем грехе. Бабушка у меня была глубоко верующая и сумела мне внушить понятие о грехе, самым тяжким из которых был обман, и я трудно переживал свое «преступление». Покаялся – и освободился от тяжести.

Бабушка водила меня на службы в церковь, так что я с детства полюбил хоровую музыку. Церковный хор – это прелюдия классического хорового пения, приверженцем которого я остаюсь всю жизнь.

И в самом деле – да, пел в хоре. Будучи школьником и студентом. А потом стал душой разных компаний – благодаря обволакивающему баритону и семиструнной – именно семиструнной! – гитаре.

Уже в 1980-е, когда у нашей семьи появились замечательные эстонские друзья, папа был в восторге от эстонских хо-

ровых традиций и особенно от праздника песни. Мы сидели на Певческом поле недалеко от сцены на местах для почетных гостей – иерархически отец в то время был крупным чиновником, который курировал северо-западный регион. За спиной дышала огромная масса людей – больше, чем стадион. И это дыхание было другим: здесь не соревнование, а единение оказывалось основным мотивом. Конечно, мы тогда не знали, что песня *Mu isamaa on minu arm*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.